Сергей Виноградов

О странном журнале, его талантливых сотрудниках и московских пирах

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«На отдаленном от центра Москвы Новинском бульваре, близ особняка Шаляпина, стоял старинненький деревянный домик в три окошечка. Вот уж никак нельзя было подумать, что в этом домике ютится редакция богатейшего, роскошного художественного и странного журнала. Журнал этот был «Золотое руно». Оказалось, что домик, будучи по фасаду в три окошечка, в глубину был довольно поместительный и в нем кроме ряда комнат был уютный салон, в котором раза два в неделю по вечерам собирались люди, близкие журналу…»

- Сергей Виноградов
  - ○

Сергей Виноградов
О странном журнале, его талантливых сотрудниках и московских пирах
Из моих записок

На отдаленном от центра Москвы Новинском бульваре, близ особняка Шаляпина, стоял старинненький деревянный домик в три окошечка. Вот уж никак нельзя было подумать, что в этом домике ютится редакция богатейшего, роскошного художественного и странного журнала. Журнал этот был «Золотое руно». Оказалось, что домик, будучи по фасаду в три окошечка, в глубину был довольно поместительный и в нем кроме ряда комнат был уютный салон, в котором раза два в неделю по вечерам собирались люди, близкие журналу.

Люди особенные: поэты Валерий Брюсов, Андрей Белый, Макс Волошин, Любовь Столица; приезжавшие из Петербурга Ремизов, поэт Михаил Кузмин; группа молодых тогда художников: чудесный талант Н. Сапунов, Павел Кузнецов, Арапов, Ларионов, изысканный Милиоти, Феофилактов. Последнего «открыл» мой друг Модест Дурнов, очень талантливый архитектор-художник, который часто говорил: «Люблю красивых и талантливых людей».

Сам Модест был изящен, очень элегантный, отлично одетый, умный, смелый почти до дерзости; чуть-чуть по-японски подтянуты углы карих глаз, волнистые черные волосы, хороший рост, весь облик его был очень заметный. Часто встречал его на Кузнецком мосту, этой сердцевине Москвы, стоящим около Садовниковского пассажа с красивым плюшевым экипажным пледом на руке в «шикарный» час, когда вся нарядная и именитая Москва на Кузнецком, и остро-зорко глядящим японскими глазами на московских красавиц.

Он немного построил зданий, но то, что построил, оригинально очень. Его вокзал в Муроме совсем неожиданная вещь и менее всего железнодорожная. Какая-то фантастика даже в нем есть. Это было смело. А в Москве он построил театр «Омон», оригинальный чрезвычайно, и, если бы театр был доведен до конца, была бы красивейшая отметина в московском новом строительстве. Но у «Омона» не хватило денег, и здание осталось вчерне – в кирпиче. А я видел у Модеста чудно написанный акварелью проект фасада театра. Весь он должен быть очень

цветной, покрыт керамической блестящей облицовкой, а по бокам огромного полукруглого входа два панно – женщины в танце, тоже керамика. Самый вход должен быть по проекту залит морем огня, как ад. Театр-то ведь был кафе-шантан. Модест очень жалел, что не удалось довести до конца смелую и красивую свою затею.

Был он и поэт, его немногие напечатанные стихотворения своеобразны и жутки. Брюсов, Бальмонт считали его своим, ценили, а Бальмонт свою книгу «Будем как солнце» среди других посвящает и «твердому, как сталь, Модесту Дурнову».

А в своей квартире, которую он устроил в доме, им же построенном для друга своего Данилова, прокурора суда, в Левшинском переулке, самая большая комната была туалетная, зеркальная, так что видишь себя в ней со всех сторон, сильный свет ламп в ней, а стол полон всевозможными туалетными приборами и парфюмерией. И почему-то у него стояли всегда увядшие гвоздики на столе. Мастерская была уже меньше, а столовая и совсем маленькая.

Так-то вот и жил Модест Дурнов. Теперь его уже нет. Я любил бывать с ним, любил бывать у него. Всегда было с ним интересно. Очень выражена была его общая талантливость, а это ведь так притягивает. Дружили мы с ним со школьной скамьи. Великолепный акварелист-мастер, член нашего славного Союза русских художников и всегдашний участник его выставок. Отличный портрет акварельный Бальмонта написал он.

Где-то увидел Модест рисунки какого-то безвестного автора, они его очень заинтересовали. Оказалось, что рисовал их какой-то юный писец на почтамте. Дурнов разыскал его и изъял из почтамта. Это и был Феофилактов. Как-то быстро совершилось превращение из почтамтского человека в «сверхэстета». На лице появилась наклеенная мушка, причесан стал как Обри Бердслей, и во всем его рисовании было подражание этому отличному, острому английскому графику. Сильно проявлен и элемент эротики, как у Бердслея. Эротика была главенствующим мотивом в рисунках Феофилактова. Облик его был интересен. Он все старался держаться к людям в профиль, так как в профиль был похож на Оскара Уайльда. При всей талантливости его рисунки все же были на уровне любительства и дилетантизма.

У всей этой компании молодых художников были какие-то особые ботинки с очень высокими каблуками, которыми они непомерно громко стучали, и все очень громко и очень «веско» отрывисто говорили. Точно гвозди вколачивали. Уж такой у них был стиль. В салоне редакции стуков не слышно было, там все было в коврах и как-то удушливо, жарко и пряно. Ароматы самых тончайших вин, ликеров, шампанского с дымом дорогих папирос

и духов в небольшом салоне несколько удушали. Кузмин в жилете из золотой парчи аккомпанировал себе на рояли и пел – как-то без всякого мотива свои «стансы». И сейчас еще помнятся отдельные фразы его: «Мой чуткий слух пронзил петух…», или: «Приходите ко мне с Сапуновым – я буду новым…», или: «Не люблю я Вены, я боюсь какой-то измены…» («Вена» – это артистический ресторан на улице Гоголя в Петербурге).

Читал новые свои стихи Валерий Брюсов, не читал, а пел стихи свои Андрей Белый, читали и другие. Много беседовали, много пили тонких вин, шампанского, выдержанных коньяков из фужеров и рюмок на длинных ножках. Так как журнал печатался на русском и французском языках и на обложке название журнала было также и французское, принято было по-французски приговаривать при питье: «Вив ла туазон д'ор».

Внешность журнала была необычна: излишне большой размер книги, почти квадратный по форме, обложка украшена рисунком, каждый номер разным, иногда довольно странным; рассылался журнал подписчикам перевязанным золотым шнуром. Вначале журнал был со многими нарочитостями, озорной, но потом отстоялся, и достаточно сказать, что были номера, посвященные прекрасным художникам, как великий Александр Иванов, Врубель, Нестеров, с очень глубокой статьей – характеристикой В. В. Розанова и много других.

Портил иногда книги Павел Кузнецов, которого было очень много помещаемо, а он не всегда был хорош, но его как-то особенно любил издатель. Кузнецов все рисовал каких-то недоношенных, еще «нерожденных младенцев». Но наряду с этими неприятными вещами у него были чудесные, как «Голубой фонтан» (Третьяковская галерея) и др.

Самым очаровательным талантом из этой тогда молодой плеяды художников был Сапунов, трагически погибший: он утонул, катаясь с Кузминым в лодке на взморье в Петербурге. Кузмин как-то спасся, а Сапунов пошел ко дну…

Издатель журнала – богатейший человек, мой друг-приятель – Николай Павлович Рябушинский со вкусом и красиво проживал свои наследственные десять миллионов золотых рублей. В Петровском парке у него была богатая вилла «Черный лебедь». Стилизованное изображение черного лебедя было на всем – на фарфоре сервизов, на хрустале, на стекле, на всяком белье. Был лебедь и на фронтоне виллы.

Помню, в замерзшей, голодной, обовшивевшей Москве 20-х годов на Смоленском рынке в разном барахле увидел я несколько тарелок и хрусталь с черным лебедем – так мне близким. Нелепо было видеть это…

В вилле был большой холл и в нем огромный фриз – роспись Павла Кузнецова «Нерожденные младенцы». Неприятный фриз. Зато были хорошие картины только что вошедшего в славу Ван-Донгена и особенно драгоценны несколько Ван Гогов и других мастеров. При вилле был очень большой яблоневый сад, обнесенный каменной стеной, у которой были большие клетки для диких зверей, но зверей пока не было, но были другие – затянутые проволочными сетками, в них масса была экзотических и райских птиц красочного оперения, порхающих по деревьям…

Любил и умел Николай Павлович устраивать пиры-праздники, и в первую весну «Черного лебедя», когда буйно зацвел яблоневый огромный сад, был устроен «Праздник яблоневого цветения». Элегантная Москва, много красивых женщин съехалось на пир этот. Ну уж, конечно, все было сделано так богато, так пышно, что, кажется, уж и не придумать ничего лучше и изысканнее. Обед был сервирован на огромной открытой террасе, выходившей в цветущий яблоневый сад. Это же было действительно чудесно! А когда стемнело – то вдруг все цветущие деревья засветились маленькими разноцветными огнями и еще меньшие огоньки светились в густой весенней траве между яблонями, как светлячки. Даже я, близкий к Коле, не знал о приготовленной иллюминации. Это было волшебно. По всему саду были сервированы небольшие столы, и пировали до утренней зари в благоухающем, цветущем саду. Под яблонями около столиков были пущены прыгающие, ползающие, летающие заводные, вывезенные из-за границы кузнечики, лягушки, бабочки, ящерицы, пугавшие дам, а это еще прибавляло веселья. Игрушечками кто-то невидимо заведовал.

Николай Павлович похож был на доброго, молодого, незлобливого лесного бога Пана. Пышные, волнистые, русые волосы, голубые глаза, усы были уничтожены, а борода довольно длинная, холеная, «ассирийская». Одевался он замечательно. Пиры и праздники очень шли к нему, и устраивал он их действительно красиво и талантливо.

По случаю годовщины существования «Золотого руна» в начале января был устроен банкет в «боярском» кабинете «Метрополя». Посредине, в длину огромного стола, шла широкая густая гряда ландышей. Знаю, что ландышей было 40 тысяч штук, и знаю, что в садоводстве Ноева было уплачено 4 тысячи золотых рублей за гряду! Январь ведь был, и каждый ландыш стоил гривенник. На закусочном огромном столе, который и описать теперь невозможно, на обоих концах стояли оформленные ледяные глыбы, а через лед светились разноцветные огни, как-то ловко включенные в лед лампочки. В глыбах были ведра с икрой.

После закусочного стола сели за стол обеденный. Перед каждым прибором было меню и рядом подробный печатный отчет о журнале. Оказалось, что «Золотое руно» дало убытку 92 тысячи рублей за первый год.

Банкет был многолюдный, но никого посторонних журналу не было. Люди были все талантливые, но очень разные, и вид их тоже был различен. Мы были в отличных фраках. Валерий Брюсов в своей «форме» – длинном черном сюртуке, всегда застегнутом. Сюртук Брюсова действительно как «форма» его был. Типично Брюсов передан в чудесном портрете Врубеля, сделанном для «Золотого руна». Это одна из последних и очень высоких работ М. А. Врубеля. На портрете Брюсов, по-моему, гораздо значительнее, чем он был. Врубель вложил свою великость в портрет. Было несколько дам, и была молодежь – «богема» – в разноцветных пиджачках и в оттоптанных сзади штанах, кончающихся бахромой. Но все были независимы, горды, смелы. Потому, должно быть, что талантливы и молоды.

Много было говорено речей очень своеобразных. Много говорил Брюсов, глядя по обыкновению мимо, куда-то в пространство. Говорил Андрей Белый, – напевая, что говорил – понять невозможно. Брюсов в ту пору царил в журнале, так что издатель и за ним и некоторые еще обращались иногда к Брюсову, называя «учитель». Говорила «богемная» молодежь, говорили дамы, говорил издатель, а между речами аршинные стерляди, разукрашенные фазаны и иные изысканности и шампанское, шампанское обильно. Долго пировали, наконец стала нарушаться стройность стола, многих одолела истома, стали отходить от стола в мягкие кресла, курили и пили. Помню совсем юного подслеповатого скульптора с не очень хорошим лицом, талантливого, оригинального в творчестве своем. У него-то особенно сильно оттоптаны сзади штаны были и кончались бахромой. Забавно было, как он, разомлевший, развалившись в кресле, в третьем часу ночи все просил себе теплую ванну. Метрдотели убеждали его в невозможности ванны, а он все негромко, изнеженно тянул свое – «теплую ванну мне, теплую ванну» – да так и заснул в кресле.

Одна из дам, очень красивая, высокая, молодая, стройная, с волосами цвета льна, с длинной красивой шеей, на которой, говорили, она носит иногда как ожерелье наученного живого ужа, в черном бархатном платье, пошла вдоль стола, горстями срывая с гряды, как траву, душистые ландыши в подол платья, искалечила всю гряду и с трех балконов, выходящих из «боярского» кабинета в общий зал ресторана, стала бросать ландыши на столы ужинающих внизу недоумевающих людей.

Полон подол разбросала красавица светлокудрая дивных цветов.

Николай Павлович распорядился, чтобы не было ни в чем отказа остающимся, и мы уехали с ним в «Черный лебедь». В вилле была «бабушкина комната», в которой я иногда ночевал. Конечно, никакой бабушки не было, да и «Черный лебедь» только что построен был, но комната была действительно такой, точно давно и долго в ней жила бабушка. И божница, и ширмочки старинные, и сундуки-укладочки, и бисерные всякие вышивки, и вся нехитрая мебель красного дерева – ну совсем, совсем все бабушкино. Контрастно было с фризом из «Нерожденных младенцев» Кузнецова и картинами Ван-Донгена и Ван Гога.

Собственно, хотя в «Золотом руне» сотрудничали и мы – некоторые «старики», но, конечно, лицо журнала составляла главным образом та молодежь, о которой я уже говорил. Вся плеяда этих талантливых и очень оригинальных художников вышла из выставок «Голубая роза», которые основал тот же Николай Павлович Рябушинский, издатель «Золотого руна». Помню первую выставку (их всего-то было две), но течение «Голубой розы» вошло в русское искусство и было такое самобытное, особенное, свое, не похожее ни на предшествующий дягилевский «Мир искусства», ни на родившийся затем «Бубновый валет». Искусство «Голубой розы» было какое-то изнеженное, недосказанное, эфемерное и очень в большинстве красивое. Название «Голубая роза» как-то совершенно выражало его. Такой дивный, такой редкий художник, как Николай Крымов, родился в «Голубой розе» и уж потом, все ища новых путей в искусстве, резко меняясь, отлился в форму, далекую от эфемерности «Голубой розы», и в нашем Союзе русских художников уже трудно было узнать Крымова, светлого, лучезарного, мягкого, прежнего. Первая выставка «Голубой розы» была сенсацией в московском мире искусства. И устроена она была с такой исключительной изысканностью красоты, что подобного не видали никогда. Благоухала выставка цветами, невидимый оркестр как-то тихо и чувственно играл, красота нежных мягких красок в картинах, нарядная, красивая толпа, небольшой размером каталог, на обложке его по рисунку Сапунова голубая роза, нежная, блеклая, – все так было сгармонировано, чарующе, так цельно, красиво и радостно, да и было это весной, что так хотелось жить, жить, красиво и радостно жить!..

Николай Павлович – очень одаренный художник-самородок. Много писал красками, и вообще – человек талантливый. Его вещи неожиданны и фантастичны, и в них огромная фантазия была. Вот уж ничего банального, ординарного, надоевшего в них

не было. Помню, особенно нравилась мне картина Коли на выставке «Голубая роза» – «Бог трав и лугов». На картине какой-то с загадочным выражением и веселостью в лице зорко-зорко глядящий человек, голенький, полногрудый, почти по-женски, и без ушей, по пояс в нежной утренней росистой траве – в лугу. Картину купил Алексей Викулович Морозов, владелец единственного по богатству музея старинного фарфора и картин-панно М. А. Врубеля на тему «Фауст». Много путешествуя по всему миру, бывая и в странах экзотических (живал даже в хижинах, устраиваемых дикими племенами на деревьях), он оттуда черпал свои впечатления, а потому картины его были оригинальны до чрезвычайности. Было чуть-чуть сближение с превосходным художником Гогеном, работавшим на островах Таити у чернокожих. Коля участвовал на выставках «Голубой розы» и в «Золотом руне». В журнале печатал он и свои стихи. Помимо «Голубой розы» была им устроена и выставка французских художников. Замечательная выставка по подбору вещей и по тому, как она дивно была устроена…

Конечно, вся эта яркость жизни Николая Павловича была популярна у Москвы, была на языке – многие злобно шипели, осуждали, других радовала, иных забавляла, а его ни то, ни другое совершенно не трогало… А сколько красивейших женщин было с его жизнью связано! Да ведь какой красоты-то! Помню, в Биаррице я встретился с его только что покинутой им первой женой. Боже мой, до чего же она была прекрасна и печальна.

Она так была трогательна в своем одиночестве и печали, что я все время – месяца полтора, пока жил в Биаррице, – не оставлял ее и всюду сопровождал. Да и надо правду сказать, льстило мне, что дама моя такой невиданной красоты. Даже в местной газете было напечатано о русском художнике в обществе красивейшей женщины. Конечно, Коля ее обеспечил совершенно.

Помню, мы приехали с ней на бой быков в Сан-Себастьян, шли по трибунам на свои места, и, проходя мимо ложи короля Альфонса XIII, я увидел, как молодой король воззрился на очаровательную даму мою. Я глубоким поклоном ответил на это. Вернувшись в Москву, я рассказывал Коле о моей встрече в Биаррице с его бывшей женой и говорил ему, как она прекрасна и как глубоко печальна, и почему же Коля оставил ее?

«Ах, Сережа, я же знаю, что она исключительно красива и доброго сердца, но… знаешь ли… мала… мала…» Действительно, Мария Осиповна была миниатюрная, изящнейшая красавица…

Все жены и не жены, с которыми затем расставался добро и незлобливо Николай Павлович, были всегда щедро, богато обеспечиваемы им. Помню его жену – раскрасавицу испанку.

Разведясь с ней, он помимо всего подарил ей дивную виллу на Ривьере с гаражом и с машиной в нем, а в машине все металлические части были из серебра…

Дивился я его энергии. Казалось, что в темпе его жизни что-нибудь сделать прямо невозможно, а оказывается, у него мастерская была полна картинами, и мы в ней иногда работали вместе. Помню, в мастерской на диване сидела большущая, нарядная и какая-то выразительная кукла. Мы с Колей ее писали. Я свой большой этюд оставил у него и забыл о нем. Каково же мое удивление было, когда я после страшных и долгих лет, приехав в Париж, увидел у него в парижской квартире мою куклу. Чудом каким-то, убегая из России, перевез он и мой этюд. Как воскресло в памяти, глядя на этюд, все пережитое, радости, молодость – все безвозвратно ушедшее.

Таяли миллионы, но в темпе жизни Николая Павловича ничто не менялось. Только журнал стал печататься на одном русском языке – без французского, да книги журнала поэтому стали меньше размером и не перевязывались уже золотым шнуром. И точно апофеоз своей красивой жизни устроил Коля волшебный «праздник роз». Было это в половине лета. В приглашениях был указан час отхода специального поезда Н. П. Рябушинского в подмосковное имение «Кучино». Поезд составлен был из нескольких салон-вагонов.

На вокзал к поезду съехалась наряднейшая, красивая Москва. Когда я приехал на вокзал, меня встретил управляющий Николая Павловича, такой тревожный, и сообщил, что ночью, едучи домой в «Черный лебедь», экипаж Коли в парке столкнулся с другим. Ник. Павл. выброшен был на шоссе, его переехали, и теперь он лежит, при нем доктор, и еще неизвестно, каковы результаты, на празднике быть он не может и очень просит меня принять роль хозяина, до приезда в Кучино никому не сообщать, что он на празднике не будет.

Мне совсем эта роль не по душе была, и очень порадовался я, увидав в Кучине, что там был один из братьев Николая Павловича, который и сообщил приехавшим гостям о несчастье и что хозяина праздника не будет с нами. Среди приезжих гостей было некоторое смятение, но потом оно быстро улеглось, уж очень впечатлял вид всего приготовленного для празднества.

К приходу поезда на станции гостей ожидали ечкинские тройки – много, много троек. На тройках нарядные гости поехали в Кучино. Усадьба была близко. От станции до парка была устроена аллея из пальм. Перед домом-дворцом – а дворец-то строен Растрелли (имение Кучино прежде было гр. Разумовских) – на поляне-газоне стояло несколько павильонов-

беседок, все столбы их густо увиты темно-красными розами, крыша-потолок из красной, в тон роз, с белой материей в складку радиусами к центру. А внутри по потолку – радиусы от столбов из роз густо, густо собраны в висящие корзины и из них гроздьями свисали чудесные цветы. На всех столах также были только розы, и все – темно-красные. В павильонах были сервированы отдельные круглые столы – много их. Художественное меню, конечно, также украшено розами. Несколько оркестров, не мешая один другому, мягко играли беспрерывно. Скоро совсем забыли, что пир без хозяина.

Оживление было чрезвычайное, повышенное, праздник удался и волновал роскошью и необычностью. Вдруг разнеслась весть, что Николай Павлович едет. Слышны стали гудки автомобиля. И правда – скоро показался его темно-красный открытый сильный «мерседес». Был еще оркестр из длинных-длинных желто-медных труб, сиявших на солнце, устремленных кверху, к небу. Фанфарами этих труб и был встречен Николай Павлович торжественно. Он объехал тихо все беседки-павильоны, приветствуя гостей. Вот когда он особенно похож был на Пана! В мягкой широкой фланели верблюжьего цвета, в мягкой цветной незастегнутой рубашке, без шляпы, со спутанными от ветра волосами, добрый, улыбающийся; забинтованная вытянутая нога под английским пледом, а у ноги внизу машины доктор.

В нашей беседке сдвинули теснее столы, освободили место посередине, и машина въехала в павильон. Стало еще оживленнее. Николай Павлович напевно заговорил, глядя кверху на свисающие розы. Заговорил, точно декламируя, о том, что здесь есть властительница его сердца, она его услышит, она его не оставит одного, она придет к нему, она будет с ним здесь рядом, с ним недвижимым, она слышит, слышит, слышит его, и он ждет, ждет, ждет ее, еще, еще говорил.

И вдруг из-за соседнего стола поднимается красавица и идет к машине, входит в нее, садится рядом. Лакей быстро сервирует в машине стол, и быстро украшают его розами. А за нашим столом оказался муж красавицы – черноглазый, черноусый, как цыган; так заволновался, что стало страшно – вот-вот разыграется ужасающий скандал. Мы все, соседи, из всех сил старались успокоить его, заверяя, что это же не серьезно, что Николай Павлович – «известный декадент», что это инсценировка, что не надо ничем омрачать такого небывалого празднества. Метрдотели с винами также старались успокаивать Алексея Назаровича, и он наконец утих. А пара в автомобиле, уже не обращая ни на что внимания, чокалась хрустальными звенящими бокалами с золотистым, искрящимся вином.

Все, к общей нашей радости, прошло благополучно… Были потом группами и парами прогулки по парку, возвращения в павильоны, а в них все было, чего только пожелается… и так прошел день, а затем ужин. И вот когда совершенно стемнело – зажегся фейерверк, но какой! Я ничего подобного никогда не видел. Это так было волшебно, такая была красота – чудо чудес! И долго, долго огненная сказка делала ночь эту фантастичной…

Ну а затем… растаяли Колины миллионы, и как раз вовремя, так как зажглись новые, страшные огни и сожгли краски жизни и все… Прошло много лет, я приехал в Париж уж совсем иным, не прежним рантье, а унылым беженцем. Да и Париж стал иной – серый, не прежний – блистательный. Нашел милого мне Николая Павловича, нашел его такого же жизнерадостного, как и прежде, совсем не потерявшегося. Оказывается, он стал антикваром, и не каким-нибудь, а одним из первых, даже в Париже. Его магазин не где-нибудь, а на авеню Клебер, против отеля «Мажестик». Магазин полон самой превосходной стариной.

Отличная квартира полна его экзотическими, фантастическими картинами, время от времени он устраивает свои выставки в Париже. По ночам с его балкона видна волшебно иллюминированная Ситроеном Эйфелева башня. В квартире прекрасная, юная, 20-летняя последняя жена, русская, так любовно-ласково смотрящая всегда на Колю.

И когда он успел накопить знания и такое чутье к старине? Талант! И тут сказался талант! Не понравилось ему, что я уныл, и он стал говорить: «Что ты, что ты, Сережа, разве мы можем теряться, ведь ты же знаешь, что мы не таковы, как все, мы должны и будем иметь еще по собственному отелю» (во Франции не говорят – свой дом, – свой отель)…

Но вот и жизнь подходит к концу, а отелей своих ни у Коли, ни у меня пока нет…